



Валерий Попов

Валерий Георгиевич Попов (1939) – прозаик, поэт. Окончил Ленинградский электротехнический институт и сценарный факультет ВГИКа. Печатается с 1963 года, выдающийся мастер повествовательной прозы от первого лица («Большая удача», «Жизнь удалась», «Две поездки в Москву», «Новая Шахерезада», «Будни гарема», «Разбойница», «Горящий рукав»), известен также своими рассказами и повестями для детей. Написанные уже в XXI веке повести «Третье дыхание», «Комар живёт, пока поёт», «Плясать до смерти» составили своеобразную трилогию, в которой преисполненный всепоглощающего жизнелюбия стиль Попова сплетён с трагическими мотивами. Лауреат Государственной Премии РФ и многих других литературных премий. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Прямая речь: «Помню – первое в моей жизни. Я сижу в ванночке, передо мной два тёмных окна. Вода остывает, и я чувствую отчаяние: жизнь холодна. Вдруг приближается знакомый добрый голос (слов я ещё не понимаю), и струя кипятка, бултыхая, вливается в ванночку, и я, оживленно двигаясь, ловлю место самого острого наслаждения, “точку восторга”: чтобы обжигало, но ещё можно было терпеть. На поиски таких “зон счастья” и ушла вся моя жизнь».

БОЛЬШАЯ УДАЧА

Среди пиратов

В жаркий неподвижный день, когда в комнатах душно и сонно, я вышел из дома и побрёл среди нагретых лопухов, блестящих сверху, а снизу мохнатых и мягких.

Я дошёл до обрыва и стал смотреть на тяжёлое, шлёпающее внизу море, уходящее вдаль полосами – от грязно-зелёного до ярко-синего. На горизонте оно играло белым, подвижным блеском, и остров там был почти не виден. Но, сощурившись, я сумел на мгновение увидеть его. Жёлтый, почти круглый, а вокруг, как лепестки ромашки, держались белые корабли. Раньше их было много, весь круг, но теперь осталось только два. Скоро и они отплывут.

И тут я вдруг сказал себе: «Пора!» Оглянулся ещё раз на спящий дом, на лопухи и прыгнул с обрыва, вернее, поехал по нему, по острым мелким камешкам и сухой глине. Я разгорячил и ободрал локти и, когда вошёл в воду, почувствовал сначала только, как приятно и холодно локтям. Я задержался в зелени, в глубине. Становилось всё светлее, и вот меня вынесло наверх, я откинул мокрые волосы, оглянулся, испугался высоты обрыва и поплыл к острову.

Я плыл долго на спине и не заметил, как оказался на острове вместе с волной, которая с шипеньем ушла в песок.

Я полежал, больно и тяжело дыша, солнце обсушило меня, слегка стянув кожу на лице. Потом я встал и направился в тот конец острова, где поднимались за деревьями высокие корабли пиратов.

Солнце село в море и осветило рыбу, водоросли и камни. Потом вдруг сразу же стемнело. Подул сильный ветер, стало сечь песком по лицу. Штаны мои надувались, и меня несло боком, пока я не хватался за куст. Тогда я решил ползти и для утяжеления пихал в карманы тяжёлые камни, которые нащупывал в темноте на мокром песке. И только утром я случайно обнаружил, что это не камни, а старая жёлтая кость, тяжёлые медные часы и маленькое чугунное ядро.

Наконец я добрался до ступенек дома – высокого, деревянного с освещёнными цветными стеклами. Тут я встал и, хрустя на зубах песком, нажал на высокую резную дверь и вошел в зал, в гомон и пар.

От двери пол поднимался постепенно вверх, и там, у задней стены, привалясь, сидел на скамейке всем известный капитан Плешь-Рояль, в одних холщовых брюках, толстый, с маленькими блестящими глазками. В ушах его раньше, видно, висели колоссальные серьги, но сейчас остались лишь огромные дыры, в которые он, отдыхая, Прodel свои ослабевшие руки. Один палец был забинтован, а к другому был привязан крохотный, чуть больше пальца, костыль. На столе перед Плешью-Роялем стояла кружка с кипячёным вином, поднимался пар.

Справа от Плешью-Рояля сидел – его правая рука, его постоянный помощник – Кульчар. На нём вовсе не было одежды, но и назвать его голым было нельзя, потому что он был с головы до ног забинтован.

– Ну, – с угрозой сказал Плешь-Рояль Кульчару, прихлёбывая горячее вино, – помнишь, как последний раз мы тонули? Помнишь, как ты захватил целую ножку от стула, а мы с ребятами втроем болтались на огрызке карандаша?.. Ну ладно, не будем вспоминать...

Тут, с силой придавленная ветром, хлопнула дверь. И в зале оказались три пирата, с ногами, похожими на 0, на 11 и на 22. Народу понемножку поднабиралось.

Снова хлопнула дверь, и вошли два пирата, одетые в одну тельняшку. Чувствовалось, что они ненавидят друг друга, – они толкались внутри тельняшки, тельняшка трещала, но, видно, другой одежды у них в настоящий момент не было.

– Рад вас видеть, друзья! – сказал Плешь-Рояль, поднимая кружку. – А что это там, в углу, – какой странный отблеск от лампы?

– Это не отблеск! – сказал я, поднимаясь во весь свой рост.

– Та-ак! – зловеще сказал Плешь-Рояль, вынимая из-за пояса свой старый верный «брюэль».

Так же медленно, ничуть не быстрее, я опускал высокое ружье, украшенное рыбьей чешуей, оставленное кем-то в углу.

Мы выстрелили одновременно, но промахнулись.

Тут Плешь-Рояль подбежал к моему столу и выстрелил навскидку. Но не попал.

Тогда он применил свой самый страшный прием: упер свои пистолет прямо мне в лоб и выстрелил. Но не попал.

– Ну-ну! – сказал Плешь-Рояль, подув в дуло своего пистолета. – А ты парень не дурак! Не испугался самого Плешь-Рояля, самого страшного пирата на побережье!.. Мы берем тебя с испытательным сроком... На вот, подпиши!

Он протянул мне контракт, составленный на мятном старом пергаменте из-под комбижира.

После того как я подписал контракт, он снова коварно выстрелил. Но не попал.

Поздней ночью мы пришли на их, а теперь уже наш корабль.

– Завтра, все завтра, – бормотал Плешь-Рояль засыпая.

Я побродил в темноте по кораблю, ничего не понимая, и провалился в какой-то люк, из которого пахло, как из бочки с квашеной капустой. Я падал, падал и, наверно, так и заснул на лету, потому что не помню, как упал.

Утром я проснулся в трюме. Пылью, просвеченной солнцем, запахом старых стружек он напоминал большой сарай. Я приставил лестницу к люку и полез наверх.

Плешь-Рояль, видно, замерз ночью на палубе, съежился, но сейчас его пригрело, и он лежал, улыбаясь во сне.

Палуба – неструганные доски – ходила подо мной ходуном. На корму нанесло земли, и там криво росло какое-то деревце.

Вьющийся горошек с маленькими фиолетовыми цветами с берега залез на корабль, на мачту, висел всюду.

Стояла разная мебель: табуретки, столы, атласные кресла, зеркала в рамах, прислоненные к надстройкам и мачте. Под ногами бегали куры, валялись яйца, дергались ящерицы...

Я посмотрел на то место за мысом, где стоял вчера второй корабль, – его уже не было!

– Вот черт, опять я проспал! – сказал Плешь-Рояль, оказавшийся рядом со мной. – Ушел!.. И карта клада у него! Ну ничего!

Два наших пирата, сняв свою общую тельняшку и придавив ее на палубе булыжником, прыгнули вместе я воду. Чувствовалось, что и без тельняшки они не могли быть далеко друг от друга.

Пират с ногами, похожими на 22, забросил с борта удочку и не рассчитал – тяжелое грузило утащило в воду и поплавок, и удилище, и его самого. Не знаю, на какой глубине он решил наконец отступить, но вынырнул он обратно приблизительно минут через десять.

Потом мы собрались на камбузе – огромном ящике, висящем в высоком трюме, как ласточкино гнездо. Кульчар развел костер из щепок, установил огромную сковородку и сделал яичницу из ста яиц, разбивая их о край сковороды. Последним пришел Плешь-Рояль, вытер сковороду корочкой хлеба и эту корочку съел. И побрел на капитанский мостик – возвышение с перилами, видимо балкон от какого-то дома.

Первая команда капитана была неожиданной:

– Душистый горошек рас-путывай!

Мы бросились в заросли. Каждый брал себе кончик с нежным фиолетовым цветочком и начинал бегать вокруг мачты, пролезал под креслами, а потом ещё долго сидел на краю палубы, отцепляя от себя тонкие зеленые кольца, пока весь длинный пружинистый стебелек не оказывался свободным. Тогда, держа его на отлете в вытянутой руке, нужно было мягко спрыгнуть и выложить стебель на земле.

С горошком провозились часов пять.

Следующая команда Плешь-Рояля была:

– Кур, которых укачивает, на берег!

Нужно было ловить кур, сажать каждую в ящик и качать ее в ящике, пока она не перестанет кудахтать – если ее укачало. Если не перестанет – значит, ее не укачивает.

К вечеру разобрались с курами.

– Ящери-и-иц...

Все застыли – и мы, и ящерицы.

– ...лови!

Все бросились кто куда.

Пока переловили и выпустили в песок всех ящериц, стало темно. Утром мы обнаружили, что некоторые ящерицы влезли обратно на палубу, а также вернулись некоторые укачиваемые куры, но мы теперь легко отличили их по грязи на лапах.

К полудню все было готово.

Мы с Кульчаром, лежа животами на верхней рее, размотали скрученный парус, и обладатели тельняшки привязали его к мачте внизу. Он сразу надулся ветром и потянул корабль вперед. Плешь-Рояль поймал ещё ящерицу и изо всех сил бросил ее, и она долетела до берега и вверх белым животом упала на мягкий песок.

Я стоял и смотрел, как удаляется остров, а вдали красной черточкой – берег, обрыв, с которого я так недавно, а кажется, так давно, съехал.

А корабль скрипит на волне, а парус хлопает и стреляет на ветру, как белье, которое вывешивала мама на перилах галереи.

...Под вечер мы увидели впереди корабль.

Половина моря была уже темной, а половина ещё светлой, и корабль тот стоял как раз на границе света и тьмы.

Плешь-Рояль оживился, надел на глаз черную бархатную повязку, которой в обычное время чистили сапоги, потом порвал на груди рубаху – на всякий случай, чтобы не порвали ее в драке. Кульчар проверял ржавые абордажные крюки. Матросы надували длинные резиновые мешки, чтобы, когда начнется бой, дубасить этими мешками матросов вражеского судна по головам.

Мы тоже вошли в полосу штиля, но продолжали ещё двигаться по инерции. Я стоял, вцепившись в поручни, готовый к прыжку с первым ударом бортов.

И тут мы увидели черный флаг и узнали знаменитый фрегат под названием «Верное дело».

– Эх вы, неудачники! – закричал нам в рупор капитан «Верного дела» Санафант. – Что, удалось распутать горошек и выпустить всех ящериц на берег? Если бы мы не попали в штиль – никогда в жизни вам бы нас не догнать!

– Но вы все же попали в штиль, – сказал Плешь-Рояль усмехаясь.

Граница света и тьмы подвигалась, и скоро все вокруг стало темным...

Я проснулся среди ночи от жалости к Плешь-Роялю и его людям.

Я решил прокрасться на корабль Санафанта, взять у него карту и отдать Плешь-Роялю.

В полной темноте я нащупал руками лестницу и вылез по ней на палубу.

Меня охватил страх – не перед какими-то там пиратами «Верного дела», а страх гораздо более глубокий.

Не было видно ничего. Ничто не говорило о том, что я на палубе корабля, а не в каком-нибудь темном чулане.

Я наткнулся, кажется, на мачту и быстро полез по ней вверх, – может, хоть с высоты я увижу какой-нибудь дальний огонек.

Я все ещё лез вверх и вдруг услышал громкий визгливый смех. Я сразу же оказался на земле, увидел себя в парке. Был холодный, сырой вечер, и наша соседка в стороне, возле кустов, в которых начинал уже запутываться туман, стояла в толпе своих толстых подруг и, закатив глаза, высоко поднимая ноги и руки, как обычно, изображала меня. Я повернулся и, задыхаясь слезами и обидой, прошел через заросший мягким мхом мост, поднялся на холодную веранду, взял белую банку молока, отставшую от клеенки с легким шелестом.

Гулкий объем банки усиливал шум прерывистого моего дыхания и редкие звуки глотанья.

Как четко я помню то одинокое лето в Пушкине!

Помню – я пришел в контору к отцу и долго его жду. Я сижу в полутемном кабинете, в зеленоватом свете оконных стекол. Черный кожаный диван холодит мои голые ноги. И не помню, кто тут только что был. Помню лишь ощущение: кто-то ушел и должен вернуться. Я сижу на холодном кожаном диване в полутьме, в свете зеленых стекол, и вдруг меня охватывает странное оцепенение, и я только думаю напряженно: «Ну, ещё немножко, ещё бы немножко никто не входил. Сейчас, вот сейчас что-то важное должно произойти!..» И вот является то, что вроде бы так просто, но, если вдуматься, так странно: «А ведь я существую!.. Я есть!»

Потом я снова погружался в свои фантазии: то оказывался вдруг в огромной комнате, устроенной под потолком нашей квартиры, и вот я

въезжаю туда на мотоцикле, и какие-то тихие, полупрозрачные люди бегут выполнять мои приказания.

Потом я вдруг оказывался среди пиратов: все было странно и вместе с тем – так реально. Я точно, например, знал, что капитана зовут Санафант.

И снова я ходил, не видя ничего вокруг, размахивая Руками, высоко поднимая ноги, выкатив глаза, пока чей-нибудь смех не возвращал меня на землю.

Потом мы вернулись в город.

Я побродил по квартире, казавшейся с отвычки большой и высокой, и вышел в наш двор-колодец, освещённый солнцем.

У стены возле наваленных досок стоял мой друг Толик.

Кивнув, он непонятно сказал: «Сейчас!» – и побежал зачем-то к себе домой. Через минуту он вылез из своего окна на доски, держа в одной руке включенный в комнате паяльник и брякающую жестяную коробку.

Подоконник, продавленный его рукой, через некоторое время выстрелил, подбросив фонтанчик ржавой шелухи, и шелуха эта стала с шорохом съезжать по жести.

Мы возвращались домой, ходили в школу, ещё куда-нибудь, но мне эта работа на досках представляется в памяти моей непрерывной.

Собрали мы маленький приемник и сразу, как мне кажется, стали делать трехламповый, на шасси. Светило солнце или, переламяваясь, неслись через двор темные тени облаков – мы все работали, ничего не замечая.

Помню, как раз в это время перекрывали у нашего дома крышу и стоял весь день звон деревянных молотков по светло-серому кровельному железу.

И этот непрерывный звон как-то ещё больше нас заводил. Рабочие заканчивали дела, мы оставались во дворе одни, подходили к деревянному верстаку, собранному в углу двора, и большими деревянными молотками выгибали на уголке маленькую алюминиевую коробку шасси. До сих пор вижу, как отлетают от алюминия чешуйки, как уходит – именно уходит – под ударами матовость со сгиба.

Потом начинаем паять схему: блестящая блямбочка олова, отражающая и удлиняющая наши лица, постепенно мутнеет, тускнеет, а тут ещё нетерпеливый Толик быстро слонит палец, трогает её, и она, зашипев, застывает – мутная, сплюснутая, с отпечатком кожи на ней.

И начало нашей работы, которой мы потом занимались всю жизнь, именно здесь: мы сидим с Толиком на досках, и тени облаков, переламяваясь, несутся через наш двор, но мы не думаем о них, а только, не поднимая головы, держа паяльник на весу, ждем, когда опять посветлеет. И вот постепенно, как освещение в кино, возвращается дневной свет, и вот уже схема в перевернутой коробке шасси снова становится цветной: маленькие красные цилиндрики сопротивлений, черно-желтые, змеиной окраски, провода...

Но главным удовольствием моим тогда было ходить: выйти из дома и быстро идти по улицам без определенной оправдательной цели, но с горячей целью внутренней, заставляющей меня дрожать и таиться!

Я ещё точно не знал, куда я пойду. Я только точно знал, что пойду туда, куда захочу!

Каким это было счастьем – стоять на тихом солнечном углу и по мельчайшим, необъяснимым толчкам определять, куда пойти – налево или направо. И вдруг ухватить, и пойти, и чувствовать с наслаждением – точно, сюда! Вроде бы случайно, но совершалось самое важное: я начинал сам чувствовать жизнь, и хорошо, что мне никто не мешал.

Помню, как однажды мама мне велела подстричься, и я сидел в темном зале ожидания парикмахерской. Из светлой комнаты, где стучали ножницы, показался маленький мрачный мальчик.

– Коля! – неожиданно воскликнула его мама. – Коля, как хорошо тебя подстригли!

Его подстригли действительно прекрасно.

Мальчик оттолкнул мать и стал неподвижно смотреться в зеркало. На боку у него поблескивала маленькая кобура.

Из зала вышел ещё клиент. По лицу его чувствовалось, что он хотел подстричься иначе и это парикмахер его запутал. Он направился к гардеробщику и, отдав номер, получил пальто. По лицу промелькнула тень. Чувствовалось, что пальто ему тоже не очень нравится.

– Следующий! – закричал усатый мастер, появляясь в дверях.

Я уселся в кресло и сидел неподвижно. Соседний мастер точил бритву, и ноздри его раздувались. Старушка шваброй выметала из-под кресел волосы и намела посреди комнаты большую разноцветную клумбу.

И вдруг мне словно заложило уши. Вернее, я стал все чувствовать как-то иначе. Мне казалось, что я смотрю на все это не то с очень далекого расстояния, не то из очень далекого времени.

И ещё я почему-то понял, что теперь мне иногда будет вспоминаться эта картина.

У меня уже было несколько таких картин.

После парикмахерской я оказался почему-то в зоопарке. Погода испортилась, набрались тучи. Зверей почему-то почти не было, многие клетки стояли пустые. Просто так, без клетки, маячил одинокий носорог. Рядом, приседая, ходил черный орангутанг. Вот он сел, накрыл рукой голову и стал вдруг похож на большой живой телефон с белыми глазами-цифрами.

Дул холодный ветер. Деревья широко раскачивались, стуча друг о друга скворечниками.

В конце аллеи красовался огромный скворечник из досок. Из него вдруг выскочил человек в кепке с длинным козырьком и быстро побежал по аллее.

Я вдруг почувствовал себя чем-то расстроенным и поплелся домой.

Дома на белой скатерти под яркой лампочкой стояли темно-фиолетовая бутылка с наливкой и торт.

– Где ж ты бродишь? – сказал веселый отец. – У меня сегодня день рождения как-никак.

– Да? – сказал я. – А можно, у меня сегодня тоже будет день рождения, а?

– Э-э-э, нет! – захохотал отец. – У тебя в декабре, а сегодня уж у меня!

Отец сидел на стуле, расставив свои огромные ноги. Я прислонился спиной к его колену, потом медленно сполз по ноге и сидел на полу, закинув голову отцу на колено. У лампочки под потолком появились блестящие золотые усики. Они играли, лучились, вытягивались... Я сделал глубокий поспешный вдох, но горячие длинные слезы уже текли по щекам, щипали их.

– Надо же! Ведь что такое?.. Ведь пропадет же таким! – слышал я сквозь дверь тихий голос мамы.

Отец что-то глухо ей отвечал.

Я лежал в темноте, в кровати, ещё протяжно, глубоко вздыхая. От желтой дверной щели тянулись лучистые усики. Потом щель погасла, стало совсем темно. Но в углу я чувствовал сгусток темноты. Потом я вроде бы понял, что это всего лишь чугунная гиря, купленная мной для тренировок, чтобы стать спокойным и сильным... Но сейчас мне казалось, что это голова какого-то чугунного человека, который пробил снизу пол и тяжело, упорно смотрит на меня...

Утром, как ни в чем не бывало, я выскочил с лестницы во двор, уже заранее отчего-то ликуя, увидел угол двора, тихо освещенный солнцем, и бросившее зайчик отполированное сиденье стула с мотком пушистой шерсти на нем...

И тут я вдруг понял, почувствовал: «Не так важно, что с тобой будет, – главное, каждую секунду чувствовать, что ты живешь!»

Последствия удара сковородой

Однажды, сделав уроки, я лежал на диване, размышляя, и вдруг услышал мамин крик с кухни:

– ...Слышишь меня? Иди... мне навстречу!

Я поднялся с досадой, не понимая, зачем мне нужно именно идти ей навстречу?!

Я быстро шел по темному коридору и столкнулся с раскаленной сковородой, которую мама несла на сковороднике. Сковорода сразу же встала вертикально, и расплавленный жир вылился мне на лицо. Я схватился за щеки и вдруг почувствовал, что кожа рвется, сползает под руками, и вот, остается в руках! Я понимал, похолодев, что события вырвались за какой-то привычный предел и уже нельзя будет вернуться туда, где секунду назад все было так светло и спокойно!

Потом в комнате я показал сестре свою кожу в руках и при этом, как она рассказывала, криво улыбался.

– Вот это да! – говорил я. – Большой успех!

Но это, конечно, был шок, и скоро лицо начало страшно болеть, и главное – что же это такое? Видно, на самом деле все полны зла и только и норовят друг над другом подшутить, если, конечно, такое можно назвать шуткой! Мама, моя родная любимая мама велела идти мне навстречу, чтоб я столкнулся с раскаленной сковородкой!

Наверное, это было первое сильное потрясение в моей жизни. Снова выскочив из комнаты, я бегал по коридору, делая от боли сквозь зубы: «С-с-с», и очень не скоро меня поймали, обмазали, забинтовали и по дороге в больницу сумели наконец объяснить, что мама, конечно же, кричала: «Не иди мне навстречу!» И только такой человек, как я, мог понять ее столь превратно!

Тут я расстроился ещё больше. И так все меня считали ненормальным – одни с открытым ликованием, другие (мама и сестра) – с тайным вздохом. И ещё этот нелепый случай со сковородкой!

От такого расстройств я по привычке сильно морщился и тут же начинал скулить: так больно это было теперь – расстраиваться...

«Непонятно, – думал я, – природа, или там – бог, или там – естественный отбор... Уж если не получается, так не надо было и затевать! Неужели уж до сих пор нельзя было устроить, чтоб люди всегда могли хотя бы слышать друг друга?»

(Слышать – это акустика, это я уже знал...)

Тут как раз начались экзамены на аттестат зрелости, и на всех экзаменах, очевидно из жалости (я все ещё был по уши забинтованный), мне поставили пятерки. Правда, и до этого у меня были одни пятерки, и так в результате сложилось, что я получил золотую медаль.

И сразу же подал документы в электротехнический институт, на отделение акустики.

И вот я пришел на собеседование, и вот вызвали меня, и я, чувствуя пустоту в животе, открыл тяжелую кожаную дверь. За ней, оказывается, была только приемная, большое светлое окно – и надо было открывать ещё одну такую же дверь.

Я открыл ее и оказался в директорском кабинете – огромном зале с лепным потолком, резным столом у стены. бархатными креслами по сторонам и рыцарскими гобеленами между окон.

Кто-то, сидящий сбоку, вслух прочитал мою автобиографию и заявление. Наступило молчание. Потом какой-то совсем молодой парень, чуть приподнявшись из глубокого кресла, спросил меня, почему я хочу заниматься акустикой.

Все остальные сидели в тех же позах, продолжая что-то чертить в своих блокнотах. Я вдруг понял, что этот вопрос задают они уже в сотый раз и заранее уже знают ответ. И меня они так же не запомнят, как всех остальных, и решать будут мою судьбу по каким-то другим факторам. Но

мне было обидно, что неизвестные мне «другие факторы» окажутся вдруг главнее меня самого. Не мог я ждать, пока до них доберутся. И потом, на «другие факторы» я на всякий случай не полагался.

Я все это подумал, когда он не закончил ещё свой вопрос... И вдруг, холодея от страха, я услышал, что рассказываю случай со сковородой. Члены комиссии сначала недоуменно, а потом уже с интересом поднимали давно уже опущенные к блокнотам глаза.

Я понимал, как много зависит от этого рассказа, раз уж я его начал. Я понимал, что если вдруг замолчу, не объясню, то дело мое уж точно будет погублено, даже если до сих пор я был первым из всех кандидатов.

Все члены комиссии подняли глаза от блокнотов и теперь смотрели на меня.

И хоть я особым красноречием не отличался, но тут неожиданно сумел все рассказать.

– Идите! – услышал я сквозь общий смех, и, когда я вышел в коридор, меня бросало из жара в холод. То я говорил себе: «Идиот!», то вдруг понимал, что, наверное, так и надо.

Часа два, пока вызывали другие буквы алфавита, я ходил раз за разом вокруг Ботанического сада.

Потом на башне института увидел, что время приближается к трем, и, холодея, двинулся к новому корпусу, где был актовый зал.

На сцене секретарша читала список принятых. Не знаю, сыграл ли какую-нибудь роль мой рассказ, но я был уверен, что сыграл.

В списке принятых значилась моя фамилия, более того, был ещё один человек с такой же фамилией, как моя, и это я почему-то тоже засчитал себе как успех.

Запомнив все эти приключения со сковородой, я сделал себе зарубку на память: оказывается, некоторые неудачи в жизни можно превращать впоследствии в удачи.

Когда я вернулся после собеседования домой, в нашей комнате был вымыт пол. Пахло мокрым деревом, сыростью. Прыгая по деревянным плинтусам от стенки к стенке, я добрался до дивана и сел поджав ноги. Потом вошел папа и, так же прыгая, поставил на стол бутылку вина и торт.

Особого ликования уже не было. Но было как-то интересно сидеть на диване, как на острове. Не ходить по комнате, а лазать.

И не знаю, что было важнее: что я преуспел в жизни, поступив в институт, или что так пахло от вымытого пола мокрым деревом, сыростью и я этот запах навсегда запомнил.

В награду за мои успехи мама взяла меня с собой на Юг. Мы были почему-то вдвоем в купе. Мы ехали через бесконечные желтые скошенные поля.

То ныряли, то поднимались за окном провода, и, помню, мы с мамой все вели спор: постоянный идет по ним ток или переменный.

– Никогда не говори, чего не знаешь! – говорила мама, подняв бровь. – Если бы был переменный, что ж тогда – лампочки бы мигали и плитка бы гасла все время! Учти – никогда не спорь!

Мама работала в Институте растениеводства, была кандидатом сельскохозяйственных наук и в технике разбиралась слабо, но и тут, по привычке, считала себя непререкаемым авторитетом.

Снисходительно улыбаясь – в том возрасте я улыбался лишь снисходительно, – я объяснял ей, что ток, конечно же, переменный, просто он так часто меняется, что получается практически постоянным.

– Ну вот! – говорила мама, которая никогда не уступала в споре, при любом его исходе считая себя победившей.

Потом, проехав через весь город Сочи в троллейбусе, по прекрасной улице среди деревьев с блестящими, словно отполированными листьями, мы сняли комнату на окраине, внизу, в поселке под названием Бзугу.

Помню, как тихим утром, отведя занавеску на двери, я выбрался из дома и пошел по узкой тропинке среди заборов.

В одном саду на раскладушке спал человек, завернувшись в белую простыню.

Из-под ног стали выскакивать камни, я вышел на берег моря и забрался на большую шершавую плиту. Где-то там, за волноломом, бухали волны, дул ветер, но здесь было тихо и жарко. Между наваленными бетонными кубами лежал глубокий прямоугольник прозрачной изумрудной воды. Я слез туда ногами вперед и, шлепнувшись грудью, поплыл, видя в воде перед собой сходящиеся-расходящиеся, ставшие белыми руки. Потом, схватившись за ржавый зазубренный крюк, я влез на наклонный куб и лег сразу, всей кожей, на его горячую шершавую поверхность.

Потом я встал и пошел по бетонным кубам вдоль берега, туда, где поднимался мол и были люди. Я оказался на пляже среди огромного количества людей. Я долго шел среди них и все никак не мог понять – в чем страшность ситуации, почему я чувствую себя как-то непривычно и в чем, наконец, особенность всей этой толпы?

И я понял, в чем дело, – среди многих сотен людей не было ни одного моего ровесника. Бегали, возились на краю камней и воды или совсем ещё дети, малолетки, или ходили, лежали, купались совсем уже взрослые, другие люди.

Из всех людей моего возраста я был на пляже один.

Потом я влез на бетонный мол. Над молотом пролетела чайка, лениво свесив лапку. Вода около мола то поднималась высоко, перехлестывая его, то совсем почти открывала камни. Вот прибежали разноцветные мальчишки,

стали прыгать с мола в воду, ещё в воздухе начиная лихорадочно грести руками.

Я повисел немножечко над водой, держась за ржавый, иззубренный крюк. Потом разжал побелевшие пальцы.

Сразу я перестал что-нибудь понимать: меня куда-то понесло, перевернуло, понесло назад, и вот я, мокрый, задыхающийся, не понимающий, сколько времени прошло, оказался на серых камнях у берега.

Белая вода с шипением уходила между камней.

Самые круглые камни с грохотом катились по скату.

Я вдруг увидел бегущего боком маленького черного краба и сразу схватил его за спинку.

Я выбрался на берег, покачиваясь, вытирая рукой лицо.

– Ой, краб! – сказала девушка в белом купальнике.

– Пожалуйста! – сказал я.

– Сейчас! Только мыльницу попрошу!

...Потом мы шли с ней по горячим камням. Перелезли высохший каменный канал с высокими стенками, на которых засох плющ.

Потом мы вошли в пустой белый дом.

В комнате на горячем столе, не открывая глаз, тянулась кошка, обсыпанная дустом. Девушка взяла виноградинку из мокрого газетного конуса на столе.

– Кисло! – задумчиво сказала она.

Кошка вздрогнула и открыла один глаз.

– Не знаешь ты этого слова, кошка! – сказала девушка, улыбаясь.

Доцент Бирюков

Постепенно я втянулся в институтскую жизнь, знал уже, что после лекций лучше не идти сразу домой, а подняться в читалку – светлую стеклянную башню над крышей нового корпуса, где можно обо всем поговорить, сразу выяснить, чего ты не понял, и, если ты уже зашиваешься вконец, срисовать у кого-нибудь графики лабораторной, придавив их к стеклу своей миллиметровкой, и, прижимая пальцами линию, обвести ее черным жирным карандашом.

Но в основном я успевал делать все сам.

И так уже катилось все нормально, пришли экзамены, и я, стоя вместе со всеми в темном коридоре, так же, как и все, говорил: «Хоть бы три шара, хоть бы три», хотя каждый, конечно, знал лучше, но было почему-то принято прибедняться.

«Сдал сопромат – можешь жениться» – и я за всеми повторял эту глупость, хотя сам-то про себя думал, что нельзя, наверно, допускать, чтобы жизнь твоя так раболопно зависела от какого-то сопромата.

И в таком легкомысленном настроении я и вошел в аудиторию, сощурившись от дневного света после долгого стояния в темном коридоре. Доцент Бирюков, свесив седые кудри, набывчившись, сидел за столом. Не

глядя на меня, не ответив на мое приветствие, он протянул ко мне свою короткую толстую ладонь, измазанную мелом.

– Что? – спросил я. – Руку? Или зачетку?

Бирюков побагровел от такой дерзости. Повернувшись вместе со стулом, он посмотрел на меня тяжелым взглядом.

– Прошу! – сказал он, показывая на дверь. – И в следующий раз приходите на экзамен в соответствующем настроении!

Я вышел в коридор, по инерции продолжая ещё улыбаться.

– Два шара! – сказал я бросившимся ко мне ребятам.

– Рекорд! – сказал Володя Спивак, поглядев на свои большие часы.

Мне не нравился доцент Бирюков: как он во время лекции развешивает свои лохмы, трясет ими, бегая от одного края доски к другому, с размаху бьет мелом в какую-нибудь точку, так что осколки мела летят во все стороны – на пол, на его обвисший, некрасивый костюм, и так уже от мела почти белый. Мне вообще не нравились люди, которым якобы некогда следить за собой – настолько они увлечены наукой. Мне кажется – наоборот, они следят лишь за тем, как бы не последить случайно за собой. Мне не нравилось, как он искусственно горячится во время лекции, то понижая голос до шепота, то начиная вдруг кричать, багроветь, сообщая при этом самые банальные, спокойные вещи.

Когда я брал в деканате направление на пересдачу, я узнал, что Бирюков заболел, но просит, однако, всех повторников посылать к нему домой.

Вера Федоровна, секретарша деканата, которая говорила со всеми сварливо-насмешливо, но которую тем не менее мы все очень любили, протянула мне направление и сказала:

– Ну что? И ты выбился в хвостисты? Молодец!

Потом я поехал домой к Бирюкову и от волнения позабыл, что знал. Бирюков посмотрел мой листик и, быстро скомкав, бросил его в корзину под стол. Та же участь постигла и листочек моего однокурсника Сеньки. Мы выскочили на улицу вместе, имея в карманах направления, где рукою Бирюкова коряво было начертано: «Неуд.».

Мы шли по улице, и я вдруг заметил, что мной овладевает то странное спокойствие, которое всегда появляется у меня в особо опасные моменты моей жизни.

Сенька же все не мог никак успокоиться, вытирал пот, перекладывал из кармана в карман листочек.

– Да-а,– говорил он, – мне приятели мои давно Долбили, что к Бирюкову лучше не попадаться, особенно если он тебя запомнит! Ну ничего! – сказал потным Сенька, от отчаяния потерявший уже всякое чувство реальности. – Ну ничего! Зато я со стола у него коробок спичек ляпнул! Будет теперь помнить всю жизнь!

– Думаешь? – сказал я.

Когда мы принесли в деканат наши листочки с двойками, положили их на стол Вере Федоровне и она, глянув, испуганно подняла на нас глаза, – открылась вдруг кожаная дверь в глубине, и наш декан Борщевский, лысый и остроносый, высунувшись, сказал:

– Вера Федоровна! Так запомните, пожалуйста,– больше двух направлений не давать. Дальше будем ставить вопрос об отчислении.

В день перед последним заходом, вместо того чтобы страдать и мучиться, я снял со стены велосипед, спустил его по ступенькам – от ударов звякал звонок – и поехал куда-то по темному, сизому асфальту в легкой, впервые в этом году наступившей жаре.

Я проехал по набережной, переехал Кировский мост, проехал всю Петроградскую сторону и через Каменный выехал на Приморское шоссе.

Там я весь день пролежал возле какой-то воронки с водой, подставив свое лицо солнцу, видя сквозь закрытые веки ярко-алое поле, по которому иногда проплывали полупрозрачные . кольца, похожие на срезы лука...

Как говорила моя бабушка: «Полежать, себя вспомнить...»

Когда стемнело и похолодало, я сел на велосипед и вернулся к себе домой, на Саперный. Дома почему-то никого не было. Я зажег настольную лампу и, положив тетрадку в горячий ее свет, перелистал холодные, гладкие страницы, оставаясь лицом в прохладной тени.

Утром, когда я проснулся, лицо горело и саднило. Я глянул в зеркало и увидел, что лицо мое сильно вчера загорело, покраснело, нахально блестит.

На улице было совсем уже лето.

Я вспомнил, что Бирюков на всякий случай просил перед приездом ему позвонить. Автомат в будке на углу щелкнул и жадно проглотил монету. Раньше бы я жутко расстроился из-за этого, но в последнее время я стал почему-то гораздо крепче и теперь понимал, что если ты звонишь кому-то и автомат проглатывает монету, то это вовсе ещё не означает, что человек этот тебя презирает и не желает вести с тобой беседу.

Раньше я считал почему-то именно так. Но теперь я спокойно пошел к ларьку, выменял ещё одну монету и позвонил из соседнего автомата.

– Прощу! – сухо сказал Бирюков.

Потом я стоял на троллейбусной остановке. На газоне теплый ветер крутил хоровод темных прошлогодних листьев.

Я долго стоял неподвижно, впадая в непонятное оцепенение. Что-то странное происходило со мной. Какое-то горячее зеленое облако, и я летел в нем, летел... Очередь растворилась, воспринималась как цепочка расплывчатых цветных пятен. Приплыло черное пятно, потом розовое...

Троллейбус, щелкая штангами на повороте, медленно вылезал из-за угла. Я сразу оживился, соспустил одной ногой с тротуара, склонив голову набок, стал разглядывать номер. Правая цифра была не та, но я, не двигаясь, почему-то ждал появления левой, словно вторая цифра, появившись, могла что-то подправить в первой.

Поймав себя на странной этой надежде, я почему-то очень развеселился.

– Ну и балда! – несколько раз повторил я.

Открыл мне сам Бирюков, отступил от раскрывшейся двери в коридор с блестящими листьями фикуса в углу. Было душно, пахло лекарствами.

Бирюков провел меня в знакомую уже комнату. Посреди нее, за круглым столом, накрытым скатертью, сидел потный Сенька. У окна на письменном столе стоял аквариум с рыбками.

Когда я обходил круглый стол, я вдруг поймал на себе удивленный взгляд Бирюкова. Как видно, его потряс мой загар.

«Ну и пусть! – подумал я упрямо. – Пусть думает, что хочет».

Я взял с письменного стола билет и сел рядом с Сенькой за круглый стол.

Бирюков постоял за спиной Сеньки, глядя на то, что он пишет, потом нагнулся к зачетке и написал там «удовл.» и расписался. Сенька вскочил, стал торопливо запихивать в портфель листочки и, пятясь, мелко кланяясь, выбежал в коридор.

– Жутко не люблю таких вот потеющих студентов, – вдруг сказал Бирюков, когда за Сенькой хлопнула дверь. – Поставишь ему тройку, он так задрожит, зачетку схватит, помчится на тонких ногах... Эх, горемыка, думаю, так всю жизнь и проживешь, в какой-нибудь шпindelь уткнувшись! Такие все говорят себе: ну, вот ещё немножко, сдам вот этот экзамен, тогда Начну жить, тогда уж начнется, наверное, счастье! Не понимает, что если вот сейчас, в молодости, у него счастья нет, так потом уж и точно не будет!

Я перестал писать и удивленно смотрел на Бирюкова. Он отошел к аквариуму и стал сыпать рыбкам корм из круглой картонной коробочки с мятыми краями.

– Потом, – снова горячо заговорил Бирюков, – встречаешь такого в автобусе утром. Мчится на свою службу, чувствуется, опостылевшую, да ещё ребеночка держит на руках. «Ну, как живешь?» – спрашиваешь. «Да ничего». И чувствуешь: действительно «ничего»! Ничего уже больше в жизни его не будет – все, конец!

Бирюков посмотрел на мою эпюру тангенциальных напряжений и быстро написал в зачетке «хор.» и расписался.

– Пойдем-ка чаю попьем, – неожиданно сказал он.

Когда чайник вскипел, он достал из шкафа лимон, обдал его кипятком и стал резать ножом с зубчиками. Первое кольцо лимона он отрезал над моим стаканом, и оно упало в стакан. Второе кольцо упало в стакан к нему. Потом он насыпал в свой стакан песок и начал разминать лимон на дне. И вдруг усмехнулся какой-то мысли.

– Я все внучке твержу, – усмехаясь, сказал он, – разминай сначала лимон, а потом уже чан наливай, ведь трудно же лимон давить, когда он в чае плавает! Все твердил ей, твердил, а она вдруг мне и говорит: «Почему, дедушка, ты все время это повторяешь? Что, это единственное, что ты мне

можешь интересного сообщить?» Я сначала посмеялся, порадовался, думаю, вот какая шустрая у меня внучка! А потом как-то задумался: действительно, что такого могу я ей сказать, чего никто другой во всем мире сказать не может?... Ничего!

Он приподнялся, стал наливать в стаканы заварку.

– Но вы ведь доцент... У вас труды, – забормотал я, чувствуя себя очень неловко.

– Где они, эти труды? – усмехнулся он. – Ты их читал?... Ну вот! Закатились в какую-то щель, затыкают там какие-то бреши... Но как-то я бы не сказал, что вот сейчас они со мной...

– Но ведь вы же... воевали, – сказал я.

– Воевал, – кивнул он. – Кстати, ты ошибаешься, если думаешь, что это так уж интересно... Все воевали, что ж... Об этом уж сотни романов написано! А я вот думаю иногда: а что в моей жизни было особенного, чего ни у кого другого не было? Для чего именно меня природа в единственном экземпляре на свет произвела? И – ничего! Один только вроде неясный случай вспоминаю. В тридцатые годы, со знакомыми одними. Ну, неважно! Жили, в общем, в одном городке, у реки... Временно... Так получилось. Не в этом суть. И вот однажды как-то не было меня несколько дней. Потом прихожу – их нет. И как-то я сразу по виду комнаты понял почему-то, что они именно на пароходе уехали, а не на поезде. Хотя на поезде проще. Тогда я и не подумал об этом, кивнул только: «Ну, понятно». И действительно, получил скоро письмо. Действительно, на пароходе уплыли, подвернулся удобный случай. Потом уж забылось все это. И только теперь, когда всю жизнь перебираю... Ну, это понятно. Это просто... И только это вот и могу вспомнить. Комната эта так и стоит перед глазами. И все не могу понять: как я узнал тогда, что именно на пароходе они уплыли?

– Может быть, вещей больше взяли... на пароход? – неуверенно предположил я.

Он посмотрел на меня, потом задумался, видно снова возвращаясь в ту комнату.

– Да нет, – он мотнул головой. – Вещи, в общем-то, те же.

Потом мы молча, задумавшись, допили чай.

Я уже уходил, когда он вдруг снова разгорячился.

– Смотри же, думай, – говорил он, держа меня за локоть в передней. – Не верь, когда тебе говорят, что вот, мол, все люди так жили и ты, мол, так же живи. Будут говорить тебе: «Не выпендривайся!» Не слушай ты их! Все надо попробовать самому! Выпендривайся обязательно! Может, до чего-нибудь и довыпендриваешься!

...Я вышел во двор, потом на улицу. Разговор разволновал меня, но тогда я воспринимал его лишь как Дополнение к удачной сдаче экзамена по сопромату. А теперь с каждым годом я все чаще вспоминаю его.

Картина перед сном

Дальше – помню первое утро, когда мне надо выходить на работу.

Неудобное, раннее вставание, зевота, сонный озноб – все это было полно уже тревогой.

Слегка умывшись, я вышел на кухню. Кухня была пуста и тиха, только белый репродуктор на подоконнике кричал стариковским дребезжащим голосом: «...пока едешь по Приморскому шоссе, покрытие ещё ничего, но только въезжаешь в город, начинаются эти люки, шишки на асфальте, сколы. Вы скажете: «А куда, собственно, торопиться пенсионеру?»... Как это куда?!

Он долго ещё кричал, а я стоял неподвижно и слушал.

Я и понятия раньше не имел, что в шесть часов утра уже идут, оказывается, такие напряженные передачи!

Потом вдруг стал рубить колоссальный джаз: ничего подобного я не слышал в обычное время!

Я быстро попил чаю с булкой и вышел на улицу.

Трамвай, против всех ожиданий, оказался почти пустой. Я сел на холодную длинную скамейку и, повернувшись, смотрел в окно. Вот трамвай миновал знакомые, родные места, и начались места новые, незнакомые.

Дрожащий блеск листьев над темным оврагом.

Речка с темной водой, и над ней почему-то множество белых чаек. Красные кирпичные здания, навалившиеся пузатые заборы. По темной воде проплыла моторка, оставляя в воде темно-бордовый клубящийся след.

Потом трамвай въехал в узкое длинное пространство между заборами, где были только рельсы.

Наверху шумели деревья, скрипели вороны.

Сбоку вдруг промелькнул заросший полынью тупик, солнечный, с остренькими блестящими камешками, какой-то неожиданный, нездешний, из другого города, из другой жизни.

Я думал, что изменился, стал нормальным, спокойным, и вдруг на двадцать четвертом году вернулись с удвоенной силой пронзительные ощущения одинокого моего детства!

Конструкторское бюро, куда меня направили, занижало огромный зал, тесно заставленный рядами кульманов. Спереди поднималась деревянная стена твоего кульмана, сзади – деревянная стена следующего. Единственным человеком, которого я видел, был стоящий слева Альберт Иванович. Альберт Иванович был человек пожилой, седые редкие волосы лежали поперек красной лысины.

«Неужели, – думал я, – может так случиться, чтобы в пятьдесят лет быть ещё простым конструктором и получать сто десять рублей?»

И несмотря на это – а может быть, как раз поэтому, – Альберт Иванович был ужасно гордым, вспыльчивым человеком.

Помню, как я был удивлен на второй день моей работы, когда начальник бюро Каблуков что-то тихо говорил Альберту Ивановичу, и вдруг Альберт Иванович повысил голос так, чтобы слышали все вокруг:

– Повторите, что вы сказали? Нет, я прошу вас – повторите!..

Каблуков что-то тихо ему говорил.

– Не-ет!– закричал Альберт Иванов, уже обращаясь ко всей общественности. – Пусть он повторит, что он сказал! Он прекрасно помнит, что он сказал! Я не мальчишка!

Когда Каблуков отошел, Альберт Иванов некоторое время работал молча, а потом вдруг сказал как ни в чем не бывало:

– Кстати, кому нужно сделать ремонт, у меня есть один телефон. Прекрасный мастер!

Дни, недели и месяцы покатились удивительно быстро. Каждый день вроде бы тянулся долго, а, с Другой стороны, пытался я вспомнить какое-нибудь недавнее событие, разговор, и вдруг оказывалось, что он был уже месяц назад!

После работы я приезжал домой, до меня доносились какие-то голоса, мелькали какие-то неясные тени, а я ждал только одного: момента, когда можно будет лечь спать!

Перед самым сном, когда мозг почти спит, приходят сигналы из каких-то дальних, заброшенных зон и появляются странные мысли, не свойственные ни твоему возрасту, ни твоей жизни, или появляются пейзажи, которых ты точно никогда не видел.

Конечно, можно было отбросить все это как чушь, но я не отбрасывал, я уже знал, что многие мысли и чувства, оказавшиеся потом важными, зарождались именно так, на самом краю сознания.

У меня уже четко определилось несколько таких странных видений.

...Какая-то станция, длинный желтый павильон на столбиках – чуть в стороне, внизу, – я гляжу с какой-то высоты. И вокруг утро, что чувствуется вовсе не по свету, свет как раз сумрачный, неясный, а по тому состоянию бодрости, которое в это мгновение меня охватывает.

На какой-то глубине сна ещё возможно вмешательство в него, и я понимаю, что надо пройти дальше, сделать хотя бы шаг в сторону, может быть там кроется разгадка? Иногда на секунду мелькает тесная улица с резным желтым домом, с галереей наверху. И все.

Что-то очень важное связано у меня с этим, хотя я точно уверен, что никогда в жизни этого не видел.

...И ещё – плоский изогнутый берег дугой уходит вдоль моря, и пальмы стоят вдоль него. И эта картина, появляясь, каждый раз вызывает острый прилив счастья.

Я очень люблю этот момент и иногда часами – а может, миллионными долями секунды? – балансирую на грани сна, пытаюсь остановить, разобраться, понять: что это такое, откуда?

И хотя считается, что это невозможно, с одной такой картиной мне удалось разобраться.

Низкие ветки в полутьме висят над самой водой, над пляжем, и какие-то люди под этими ветками лежат на песке, тихо беседуя...

И вдруг я вспомнил, откуда у меня эта картина!

Я проработал после института полгода, была поздняя осень, и я собирался ехать в отпуск на Юг.

И когда я думал о Юге, перед моими глазами почему-то всегда являлась эта картина. Понятна и некоторая сумеречность ее: была уже осень, шел дождь...

И вот, написав заявление, я стою в кабинете главного инженера. За окном льет дождь, а в кабинете темно, на грани включения света. Нужно, чтобы кто-то громкий, шумный вошел сюда из освещенного помещения и громко сказал, не уловив нашей тишины:

– Что это вы сидите тут в темноте?

И сразу щелкнет выключатель, мы сощуримся от яркого света, а за окном станет непроглядно черно, и наши желтые силуэты отразятся на черном стекле. Но этот шумный все не приходит, а я уже здесь давно, уже после моего прихода начался дождь и наступила темнота. Но главный инженер не включает свет, понимая, что, если станет вдруг светло, обстановка изменится и весь разговор придется вести сначала.

И вот мы сидим в полутьме, и он в который раз говорит:

– Вот так... Раньше чем через одиннадцать месяцев отпуск не положен. Что делать – закон!

И передо мной снова появляется картина: низкие ветки в полутьме, почти над самым песком, и там лежат люди, тихо беседуя... Но теперь эта картина проходит передо мной как мечта, как что-то прекрасное, недоступное – и с таким именно чувством и отпечатывается.

В школе я любил черчение, но там время от времени случались и другие уроки!

К концу работы болела спина, дрожали усталые руки.

Однажды Каблуков сказал мне, что хочет перевести меня на место Нечаевой, уходящей на пенсию. Место, как объяснил Каблуков, гораздо более важное и ответственное, но так как Нечаева, обладая огромным опытом и стажем, не имела тем не менее высшего образования, то оклад ее был девяносто рублей, на десять рублей меньше, чем сейчас у меня.

– Что ж, – спросил я, – и я тоже буду получать девяносто?

– Временно, временно! – подняв руки, закричал Каблуков. – Я давно уже кричу на всех углах, чтоб на эту должность дали инженерскую ставку, но разве этих головотяпов пробьешь! Но теперь, с вашим дипломом, это будет сделать гораздо легче!

Сложным путем Каблуков стал доказывать, что это ни в коей степени не понижение, а, наоборот, большая удача в моей жизни.

«Неплохо! – подумал я. – Так можно и до вахтера дослужиться!»

А Сенька, оказавшийся на этом же предприятии, но в акустическом отделе, о котором мечтал я, – процветал! С теми он говорил о турпоходе, с этими – об автобусных маршрутах...

– Неплохая подобралась компашка, – небрежно говорил он мне на площадке. – Свои парни в доску. Шеф тоже свой парень. Потрепались с ним вчера в большом порядке!

Я стоял, сгорая от стыда. Я понимал, что общение на таком уровне постыдно, но что и кому я мог сказать: его-то уже знали все, а меня не знал ещё никто.

Потом я увидел Сенькиного шефа. Действительно, вылитый Сенька! И Сенька тоже станет начальником, а я так и останусь со своими мучениями... И тихо, скромно действительно дослужусь до вахтера.

Самое интересное – почти так оно и случилось.

В капусте

Каждую осень от нашего КБ посылали человека на овощную базу. Каблуков попросил было Альберта Иваныча, но, получив гневную отповедь, послал меня.

Я доехал на трамвае до кольца, под морозящим дождиком, в сапогах и в ватнике, прошел по шпалам через большие открытые ворота. Я вошел в длинный одноэтажный дом, в набитую мокрыми людьми тесную комнатку. За столом сидела женщина в куртке, замотанная платком, вела о чем-то спор. Я постоял, подождал. Я вдруг гонял, что могу свободно уйти, и никто никогда об этом не узнает, не вспомнит. Но по инерции я продолжал стоять.

– Вам чего? – спросила наконец женщина, несколько смягчая свой голос для нового, неизвестного ещё человека.

Я объяснил.

– А-а-а! – сказала она уже в обычном своем тоне. – Пойдешь по путям, там все увидишь!

Я пошел вдоль путей, вдоль длинных бурых вагонов. В некоторых были сдвинуты двери, и там белели горы капусты. Капуста лежала и без вагонов, вокруг.

Я полез по одной такой горе, и вдруг она стала подо мной рушиться, кочаны со скрипом вдавливались куда-то вниз, потом я оказался стиснут ими, и они стискивали меня все сильнее. Я пытался выбраться, хватался за дальше, неподвижные кочаны, но только верхние истрепанные их листья оставались в моих руках.

«Это конец!» – подумал я, оказавшись зажатым в капусте, но тут вдруг началось какое-то движение, и я, в окружении нескольких сотен кочанов, скатился по капустной горе в длинный цементный коридор.

В коридоре на пустых деревянных ящиках, обитых по краям жестью, сидели тихие молчаливые люди.

– А-а-а, – сказал один из них, вставая. – Ну, молодец, что протолкнул!

И, больше не обращая на меня внимания, они стали с получившейся россыпи сгребать кочаны в ящики; поставив ящик на плечо, шли с ним вдоль по коридору.

Дальше был поворот, за поворотом горела лампочка и стоял длинный штабель из ящиков с капустой.

Поодаль на цементном полу валялась груда ящиков пустых.

Все взяли по пустому ящику и вернулись к капустной горе.

Долгое время мы работали молча.

– Зашиваемся! – сказал мне небритый человек в кепке. – Домой и то некогда сходить!

И действительно, когда уже в темноте мы кончили работать, никто не поехал домой. Полтора часа тащиться на трамвае сейчас, потом – полтора часа утром, рано вставать... стоит ли? Все прошли по коридору в какую-то комнату с окном в потолке и легли спать прямо на капусте, прикрывшись общим большим брезентом.

Утром мы встали и снова стали складывать капусту в ящики. Тут же была и столовая, здешний повар умел готовить из капусты множество прекрасных блюд!

Остаток перерыва мы провели в нашей комнате. Сидя на капусте, я с изумлением наблюдал, как наш бригадир, усатый старичок, удивительно играет в шашки. Сидит, сжавшись, спрятав руки в рукава, как в муфту. Потом высунется розовый пальчик, двинет шашку – и назад!

По другую сторону доски, так же недвижно, как я, наблюдал за игрой Володя, небритый мрачный парень в серой кепке.

– Ты чего, Володя, такой небритый? – выйдя из оцепенения, спросил я его.

– Да у меня батя болеет, в Нальчике, – хмуро, неохотно ответил Володя, и мне, как и всем вокруг, почему-то показалось, что он дал на мой вопрос исчерпывающий ответ.

Полной победой бригадир завершил партию, и мы пошли по коридору к нашим ящикам.

Так мы доработали до вечера, и снова никто не захотел ехать домой.

Не помню, сколько дней так продолжалось.

Иногда я забирался на какой-нибудь капустный пригорок. Капустные горы, капустные долины простирались до самого горизонта.

С легкой тоской вспоминалось, что существует где-то прекрасный Невский проспект, пахучий ресторан «Кавказский», пряный магазин «Восточные слабости», но все это уже казалось каким-то нереальным.

И главное, понял я – никого тут насильно не удерживают, выйти отсюда вполне можно, если постараться. Но как-то тут не принято было стараться... Как-то это считалось тут неприличным.

Можно, конечно же можно было съездить в город, на Невский, но только, если вдуматься, – зачем?

И я постепенно тоже начинал так думать: «Зачем? Что там такого особенного?»

В общем-то, собрались тут неудачники, которые, как и все неудачники в мире, считали, что теперешнее их положение временно, несерьезно и вскоре, конечно, должны произойти кардинальные перемены в их жизни.

«Но ничто так не постоянно, как временное», – говорил наш институтский мудрец Вова Спивак...

Однажды, когда мы разбирали капустный завал в углу комнаты, я вдруг услышал звонки. Они несомненно доносились из глубины. Я стал разбрасывать кочаны, и вот открылся цементный пол, а на нем стоял черный телефон.

«Не может быть, – подумал я, – чтобы здесь была связь с городом!»

Я схватил трубку, быстро поднес ее к уху. Тишина... И вдруг гудок!

Быстро, отрывисто, щелкая диском, я набрал номер телефона главного инженера.

– Говорите! – удивительно близко произнес он, наполняя меня всего звуками своего жирного голоса.

Я быстро рассказал ему всё.

– Да, это мне известно, – ответил главный инженер. – Ну и что?

– Как что?! – закричал я.

– Так – что? У вас всё? – сказал он и повесил трубку.

«Конечно, – подумал я, – чем каждый раз искать новых людей, лучше уж держать тут постоянно меня, раз уж я получаюсь такой послушный!»

Что же, до конца дней будет теперь одна капуста?..

Может быть, позвонить в милицию? Но что я, собственно, им скажу? Формально все нормально! Я от предприятия послан с шефской помощью на овощебазу. А что моя жизнь здесь кажется мне предвестником каких-то будущих моих жизненных неудач, это слишком долго и сложно будет объяснять. И вся трагичность моей теперешней жизни существует лишь в моем восприятии. Как говорила здешняя работница Марья Горячкина: «Можно погибнуть, а можно сапоги потерять».

И конечно, понял я, ничего тут трагичного пока нет. Трагично все может быть, если моя жизнь и дальше покатится так, сама по себе.

Я выскочил из комнаты в коридор, подбежал к капустной насыпи, по которой когда-то съехал сюда, и полез наверх.

Сначала насыпь поднималась довольно полого, но потом встала почти вертикально, а потом даже нависла. Я с яростью лез, вцепляясь ногтями и зубами, откусывая куски капусты, и так случайно выдернул кочан темно-бордового цвета, и вся стена сразу на меня обрушилась...

Когда меня раскопали, бригадир сокрушенно сказал:

– Э-э-э, молодежь! Я, помню, тоже все порывался куда-то...

Вечером, сидя со всеми в комнате, я вдруг почувствовал, что мне всегда, в общем, нравились такие складские помещенья: кислый запах, тускловатый свет...

В каждой жизни есть свой уют.

Однажды, когда мы с Володей разгребали очередную гору, сквозь нее вдруг подуло холодом, она рухнула, и открылась какая-то узкая речка, и несколько кочанов поплыло по ней вниз по течению.

«Ну, все! – вдруг понял я, похолодев. – Надо решаться. Или сейчас, или никогда!»

«Неудобно, – сразу подумал я, – и вообще...»

«Что значит «неудобно», – мысленно закричал я, – если речь идет о твоей жизни!»

– Ну, – сказал я Володе, – поплыли?

– Да ну, – стал говорить он. – Да стоит ли? Зачем?..

– Володя! – закричал я. – Не надо упрощать и без того простую жизнь!

Мы сделали плот из кочанов, увязав их брезентом, вспрыгнули на него.

Довольно долго мы плыли среди капустных гор, потом горы внезапно оборвались и появился плоский глиняный пустырь. Было холодно. В реке шуршали тонкие застывающие льдинки. Их можно было снимать с воды, и они не ломались. Полетели снежинки – черные на фоне белого неба...

Когда я вернулся в институт, никто мне ничего не сказал. Как раз был перерыв, и я пошел со всеми в столовую. Как всегда, там было полно народа.

Все что-то такое про меня слышали: то ли где-то я был, то ли, наоборот, где-то меня не было... Некоторые знакомые со мной не здоровались – зачем? Другие, наоборот, рассеянно мне кивали...

– Что у вас на второе? – спросил кто-то позади меня.

«Не дай бог голубцы!» – подумал я...

– Сосисы и сардели! – важно сказала подавальщица, маленькая старушка.

Она подняла крышку, из бака поднялся пар.

«Вот бы их съесть все сразу», – глотая слюну, думал я.

Мне действительно этого хотелось, я мог.

– Сто порций! – сказал я, когда моя очередь подошла.

На следующий день все уже знали меня.

– Сто порций, сто порций, – слышал я, пока шел по коридору.

«Ну и пусть, – весело думал я, – лучше быть «ста порциями», чем просто так, никем, темным силуэтом на фоне окна».

Я открыл дверь к главному инженеру в кабинет.

– А-а-а! – закричал он. – Ну что? Ну, молодец! Я сам был такой!

Теперь-то он сразу меня узнал!

И через неделю я уже работал в группе акустики, по своей любимой специальности. И только немножко было непонятно, почему я не делал этого раньше.

Вспоминая капустный эпизод моей жизни, вроде бы короткий и незначительный, я понимаю все больше, каким важным был он для меня. Именно там я представил себе один из возможных вариантов жизни – тоскливый, безынициативный, неудачливый. Представил и испугался–пет, не надо! Увидел в воображении, лишь почувствовал легкий запах и сразу понял

– с ходу назад! Как говорили у нас в институте, просчитал все заранее в уме. Или, как ещё говорили у нас, провел испытания на модели.

«А у другого,— подумал вдруг я, —ушла бы на это вся жизнь! А я уложился в неделю!»

Говорят, что людей находят в капусте, а я чуть было в ней не потерялся!

Без лишнего шума

Я был рад работать наконец в акустической группе.

Мне непонятны и неприятны люди, которым достаточно лишь устать, чтобы считать день проведенным с пользой.

«Ну и что, что устал? —думал я. —Это ни о чем ещё не говорит».

А здесь было все понятно. Мы разрабатывали микрофоны для переговорных устройств. Это было то, о чем я думал давно: «Чтобы люди лучше слышали и лучше понимали друг друга».

Раньше я все думал о том, как себя вести, а теперь начисто об этом забыл, настолько было некогда и неважно.

Утром я входил в комнату и, повесив в шкаф пальто, поздоровавшись, сразу же выходил. В коридоре я поднимал тяжелую щеколду на толстой железной двери, отворял ее и, закрыв за собой, попадал в маленькое помещение— «предбанник». Потом я поднимал щеколду ещё с одной такой же чугунной двери и, закрыв ее за собой, входил в особое помещение, в особый объем—сразу же с легкой болью закладывало уши, я с усилием глотал слюну... Это была заглушённая камера — специальное акустическое помещение, стены и потолок которого были покрыты толстым слоем стекловаты, обтянутой сверху белой марлей. Вся комната была белой и мягкой, сюда не проникал ни один внешний звук.

Пружина, покачиваясь, я шел по мягкому толстому полу к металлической стойке, отвинчивал уже испытанный микрофон и ставил на его место следующий. Иногда я вдруг попадал под влияние этой белизны и тишины, садился в мягкий угол и сидел, поджав ногу. Потом, опомнившись, вставал, выходил в «предбанник», закрыв толстую чугунную дверь на щеколду.

В предбаннике я садился на стул, включал звуковой генератор и, поворачивая черные ручки, давал нужную частоту на динамик.

Так, пройдя по всем частотам, от трехсот до десяти тысяч герц, я строил на графике частотную характеристику чувствительности этого микрофона.

Потом, отодвинув стул, я поднимался по ступенькам, отодвигал щеколду, проходил, утопая, по пышному ватному полу, снимал обмеренный микрофон, привинчивал на его место следующий, захватывая его кончики специальными «крокодильчиками», которыми кончались провода, идущие через вату к приборам.

Потом, пружиня на вате, я шел назад, закрывал, тужась, дверь, опускал в тесный паз тяжелую щеколду с ручкой...

Иногда, забыв о всем прочем, звукоизолированный от всех, я забывал про обед и даже пропускал конец рабочего дня.

Проверив все микрофоны, я нес их в комнату к Голынскому, «злодею», как все у нас его называли. Действительно, у него была странная работа: портить, как только сможет, все приборы, которые мы с таким огромным трудом создавали.

Больше того, в его распоряжении была ещё могучая техника!

Во-первых, у него был вибростенд, и, закрепив микрофоны на этом стенде, он задавал им такую тряску, после которой я, например, точно бы отдал богу душу.

После тряски он возвращал микрофоны мне, я снова шел в заглушенную камеру и снова снимал характеристики.

И снова нес микрофоны к «злодею» Голынскому. Тот радостно выхватывал их у меня и запихивал на этот раз в герметичную камеру, где долгую печную жару вдруг резко, подло, без предупреждения менял на адский холод!

Промучив их так, он вынимал микрофоны из камеры, я быстро хватал их, ещё хранящих космический холод, и, дрожа от нетерпения, шел с ними в заглушенную камеру, привинчивал на пульт первый из них, закрывал дверь, выходил и, слыша сквозь железо тихий, меняющийся вой в камере, пробегал весь диапазон частот, разглядывая, где и насколько упала чувствительность, а где, наоборот, вдруг поднялась.

Потом Голынский помещал микрофоны в камеру «тропической влажности», потом в камеру «морского тумана» с испарениями солей, щелочей и кислот, которые, по злобному замыслу Голынского, должны были разесть аппарату самые нежные, чувствительные места.

Стирая крупную росу от «морского тумана», я снова привинчивал микрофон на стойку, торопясь немедленно, сегодня же снова промерить всю серию.

Однажды, забыв про время, я задержался до глубокого вечера, и вахтер, обходящий здание, закрыл коридорную железную дверь на щеколду, проклиная, наверно, растяпу, который забыл это сделать. Я как раз стоял в этот момент абсолютно тихо, затаив дыхание, ловил «крокодильчиком» истрепанный кончик микрофонного вывода. Услышав лязг щеколды, я ещё несколько мгновений стоял неподвижно, а потом бросился па железную толстую дверь: кричал, стучал, но это было совершенно бесполезно!

И главное: и завтра утром все могут решить, не увидя меня, что просто я ушел уже в свою камеру, и это будет отчасти правдой.

Так я смогу тут сидеть до посинения, никто про меня и не вспомнит, разве что добрым словом: «Надо же, как увлекся работой!» Или, увидев дверь камеры закрытой на щеколду, помянут словом недобрым: «Надо же, на работу не вышел».

Но мне оба эти варианта не нравились.

Часов у меня не было, и я представить себе не мог, сколько же прошло времени. Пружиня, я бегал из угла в угол, отталкивался от сходящихся ватных степ, падал на спину, катался, но, что характерно, совершенно молча: тишина заглушённой комнаты как-то подействовала и на меня. Сначала я чувствовал себя полностью отрезанным, вернее, изолированным от мира, но потом понял, что одна связь все же есть: электрические провода.

«Ну и что толку-то? – подумал я. – Подстанция спокойно посылает свой ток, и ей безразлично и неизвестно, что одна из ее лампочек освещает в данный момент столь завальную ситуацию!»

Если выйдет из строя подстанция, я сразу узнаю об этом, потому что лампочка моя погаснет, но никто не узнает о том, если вдруг погаснет одна моя лампочка!

Я вдруг понял, что есть один-единственный способ Дать о себе знать: активно выйти в систему, так, чтобы нее почувствовали твое присутствие. КЗ! Короткое замыкание— вот единственное, что я могу сейчас сделать, единственное, чем я могу дать знать о своем горемычном существовании.

Но что-то удерживало меня: боязнь резких движений, новых, неожиданных, непривычных поступков...

И все-таки, поняв, что другого выхода нет, я решился!

Я оборвал хвостик у одного микрофона, зубами и ногтями заголил концы побольше.

Потом я вывинтил лампочку... и сразу же погрузился во тьму. Да-а-а. Об этом я как-то не подумал! Надо хоть вспомнить, посмотреть, как устроен патрон, куда надо совать провод, чтобы устроить простейшее КЗ. В темноте ничего не увидишь, пришлось завинчивать лампочку назад, и, только когда лампочка лучисто засветилась, я понял, что теперь хоть и светло, но внутренности патрона не увидишь и проволоку туда не сунешь. Непонятно, как я мог надеяться на все сразу: и на то, что будет светло, и на то, что патрон будет при этом открыт. Наверно, от пребывания среди этих сплошных подушек я начинал сходить с ума.

Я вывинтил лампочку и сунул провод в патрон.

Удар, сноп искр! Попал! Я и забыл, что это так сильно и так страшно.

Теперь только не дай бог, если дежурного электрика не окажется в этот момент на месте и он не услышит, как хлопнула пробка на одном из многочисленных щитов, окружающих его. Если он этого не слышал, то все – последний мой контакт с миром потерян. Так сказать, никто не увидел единственной моей сигнальной ракеты...

Я подождал с бьющимся сердцем минуты две, в темноте почему-то особенно было слышно, как бьется сердце, и быстро, торопливо стал ввинчивать лампочку.

Лампочка загорелась тихим, лучистым светом.

Теперь вроде бы электрик мог понять: если короткое замыкание то есть, то его нет, очевидно, оно устроено какой-то разумной силой, значит, где-то в здании присутствует человек.

Я ждал скрипа отодвигаемой щеколды, но его все не было. Понятно. Просто заменил пробку – и все.

«А если, – мелькнула испуганная мысль, – он вместо пробки поставил вдруг медный жучок? Я же не знаю – сую свою проволоку. Пожар!»

Долгое время, испугавшись, я сидел по-турецки под тихо горевшей лампочкой, говоря себе: «Ну вот же... Все тихо... Спокойно... Светло!»

Но потом снова вскочил, снова вывинтил лампочку, снова сунул туда проводок...

Не помню, после какого раза ввинченная обратно лампочка не загорелась.

То ли дежурный вообще решил не ввинчивать больше пробку, то ли решил все же посмотреть, что ж такое на этих контактах – то коротит, а то нет! – непонятно.

Я не знал этого электрика, не видел его ни разу и не знал – для него «непонятно» является стимулом к действию или нет?

Если он человек активный, любопытный, то сейчас, я представлял, в своей камере под лестницей он вынимает из стола папку, разворачивает на столе розовую схему энергоснабжения нашего предприятия, долго ищет на ней этот щит, потом на щите восемьдесят вторую позицию, потом долго ведет по линиям тупым карандашом, смотрит, куда же ведут провода с этой восемьдесят второй...

Не знаю, сколько я просидел в темноте, прежде чем услышал скрип туго отодвигаемой, заклиненной щеколды...

Много я потом занимался техникой, электричеством, но это уж точно был самый электрический день в моей жизни!

После этого я долго боялся входить в заглушенную камеру. К счастью, замеры микрофонов были уже закончены и началась следующая фаза испытаний.

Приехал приемщик.

Вместе с электронщиками из другой группы был собран весь тракт переговорного устройства: микрофон– усилитель – репродуктор, и начались испытания на разборчивость.

Проходили они так.

Кто-нибудь говорил в микрофон, а кто-нибудь слушал репродуктор.

В микрофон при этом полагалось говорить не что попало: были специальные таблицы, которые следовало читать. С другой стороны, эти таблицы были лишены всякого смысла, всякой связи между словами, потому что в логической фразе нерасслышанное слово можно Угадать и один, более догадливый, оценит этот микрофон выше, чем недогадливый... А требовалась объективная сценка.

В репродукторе слышался Сенькин голос, с легким звоном:

Артикуляционная таблица номер тринадцать

лодочка японец теплота генерал черника

<i>брошенный</i>	<i>змея</i>	<i>засушила</i>	<i>век</i>	<i>вы</i>
<i>волк</i>	<i>забыть</i>	<i>навзничь</i>	<i>арбуз</i>	<i>лёд</i>
<i>коллектив</i>	<i>кастрюля</i>	<i>изгиб</i>	<i>куриный</i>	<i>имель</i>
<i>выплывающий</i>	<i>фляга</i>	<i>матросский</i>	<i>солома</i>	<i>неизбежный</i>
<i>тюль</i>	<i>сомнение</i>	<i>полька</i>	<i>бить</i>	<i>краснобай</i>

Полагалось читать строку за строкой сверху вниз в микрофон, а на другом конце системы у репродуктора слушать и записывать. Таблиц таких было сорок, их читали в произвольном порядке, выучить их было невозможно, и каждое слово приходилось действительно слышать.

Но так было до меня.

На мне эта стройная (а вернее, как раз нестройная) система пошатнулась.

В каком-то, не знаю уж, порядке я прослушал все эти таблицы по разу, а когда их, в другой, разумеется, разбивке, стали читать во второй раз, я вдруг понял, что знаю их все наизусть.

Причем не просто знаю – с каждой строкой у меня была уже связана картина, в которую входили все необходимые слова.

Казалось бы, какая связь: лодочка, японец, теплота, генерал, черника... А у меня сразу же появлялась картина. Я не только ее видел, я ее чувствовал, ощущал: какая-то темная река, на ней лодочка, и японец-генерал поплыл в теплоте за черникой.

Я не только это представлял, я в этом участвовал: черная теплая ночь, светлая лодочка, темная вода, пружинящий болотистый мох, на котором растет мягкая черника.

Брошенный змея засушила век вы.

Тут тоже была у меня картина, хотя и не столь ощутимая физически, как с теплотой и черникой. Зато почему-то она накрепко была связана с каким-то чувством обиды. Я брошенный, потому что какая-то змея своим дыханием засушила наш век, и теперь все друг с другом на вы!

Волк забыть навзничь арбуз лед.

Эта картина, наоборот, была связана с ощущением какого-то счастья, какой-то сочной, удачливой, лихой жизни: застрелить волка и забыть его – мало ли в жизни мы охотились на волков! Пусть он лежит себе навзничь, а мы пойдем к себе, в двухэтажный деревянный дом, где лежит на льду арбуз, разрежем его и с каким наслаждением съедим!

Коллектив кастрюля изгиб куриный имель.

И тут была картина, в которой я вроде бы когда-то участвовал: какие-то люди, коллектив, связанные неясными для меня узами, приплыли на какой-то пикник, вот вынимают из рюкзака кастрюлю,

разжигают костер возле изгиба реки, варят куриный суп из синеватой в пупырышках курицы. Потом в пустой, но жирной кастрюле долго бубнит свое жадный шмель. Ощущение тишины, молчания, большого неуютного простора, сложных непонятных для меня отношений между этими тихими, молчаливыми людьми.

Выплывающий фляга матросский солома неизбежный.

Только для этой строчки, мне кажется, ассоциация была искусственной: что-то такое я читал или слышал такую песню. Выплывающий матрос, промокший. Фляга— единственный способ согреться, и скорее забиться в солому, чтобы спрятаться и чтобы согреться. Что делать, такой ход событий был единственным, неизбежным!

Тюль сомнение полька бить краснобай.

Все это представлялось мне какой-то неясной картиной из будущего, почему-то связанной с любовью, причем с любовью неудачливой, грустной, хотя слов «любовь», «девушка» в этой строчке и не было. Но уже при слове «тюль» я чувствовал какое-то страдание, я видел себя в какой-то темной комнате охваченным сомнением, и белый тюль вдруг вдувался в темное пространство комнаты, пугая меня, ещё больше увеличивая волнение, потому что вторая часть строчки была мне чужой, враждебной. Полька, бить, краснобай... Я чувствовал, что никогда не смогу танцевать польку, не буду никого бить, не буду никогда краснобаем. И многое в жизни потеряю на этом — особенно в любви.

...Так я потихоньку сходил с ума, — это было мое личное дело, по главное, я не мог уже участвовать в испытаниях! Услышав одно слово, я знал все остальные, и несколько микрофонов подряд получили у меня нереально прекрасные оценки.

Наверно, я во время испытаний бормотал свои сказки, потому что однажды вдруг заметил, как шеф и Сенька вместе посмотрели на меня и лихо перемигнулись.

Потом меня стал расспрашивать приемщик: как это я так здорово запоминаю весь текст? И я понял, что меня, как сдвинутого, хотят отстранить от этой работы.

Ничего, мне к этому не привыкать! Ещё десять лет назад в Пушкине соседка считала меня идиотом и передразнивала!..

Вечером я ехал в зыбком трамвае домой, и мне вроде бы полагалось быть расстроенным, но я расстройства почему-то не чувствовал, а вместо этого твердил: «Лодочка, японец, теплота, генерал», с наслаждением ощущая, как я, старый японец, плыву в темноте, в теплоте за черникой... Я участвовал в какой-то тайной, неизвестной всем жизни!

Подумав один лишь вечер, я нашел и практический выход из ситуации: ведь кроме словесных существуют и другие, более строгие, труднее

запоминаемые, слоговые таблицы. И так как испытания только что начались, я перевел все на слоговые измерения и был оставлен ответственным.

<i>борь</i>	<i>пюй</i>	<i>фить</i>	<i>быш</i>
<i>точ</i>	<i>чеф</i>	<i>стес</i>	<i>трац</i>
<i>кень</i>	<i>плип</i>	<i>гечь</i>	<i>рель</i>
<i>пыфь</i>	<i>кык</i>	<i>лив</i>	<i>сус</i>

Иногда какой-нибудь «пыфь» и оборачивался вдруг напыжившимся, взъерошенным зверьком, но, не найдя поддержки со стороны, снова превращался в слог, какого нет во всей русской речи...

В общем, испытания закончились успешно, мою фотографию даже повесили на доску Почета.

И тут, когда напряжение, непрерывный нервный подъем остались позади, я вдруг почувствовал, что устал и плохо чувствую себя физически. При этом я понимал, что устал не от работы, а от чего-то совсем другого. Постепенно разбираясь, отводя один за другим лепестки необоснованных обвинений, предположений, я понял, с некоторым даже разочарованием, что причина моего упадка проста. Ещё в первые дни, когда я только попал сюда, меня раздражал непрерывный шум под лестницей, где на первом этаже находился механический цех. Непонятны л путем, неотступно шум, как запах керосина, проникал абсолютно во все комнаты. Но тогда по своей робости я посчитал, что это так и должно быть, что это и есть те неизбежные и даже желанные трудности, с которыми встречается молодой специалист на производстве. Я думал, что привыкну к шуму, что, выросши в таком шуме, я буду более крепким и закаленным. Но вот минул год, я стал более крепким и закаленным, а шум по-прежнему раздражал меня!

И вот однажды, не вытерпев, я взял из шкафа шумомер и спектрометр и спустился по лестнице в цех. Я прошел через теплое, давно знакомое мне пространство. Тускловатый блеск лампочки под потолком, неровно покрашенные серой «шаровой» краской станки, масляный, сизый блеск крутящихся, трущихся частей...

Я остановился посреди цеха и, положив на повернутую кверху ладонь приятный, гладкий, обтекаемый, светло-зеленый шумомер голландской фирмы, стал внимательно смотреть на шкалу.

Стрелка ходила, шум, понятно, не был всегда одним и тем же. Но даже в самых максимальных отклонениях стрелка лишь едва касалась красного сектора на шкале, то есть шум не превышал допустимых норм, лишь иногда...

Я взял со стола элегантный спектрометр и, переключая со шкалы на шкалу, искал шумовые пики, их частоту.

В общем-то, как я установил, спектр нашего шума не был особенно неприятным.

Я говорил с самыми разными людьми, и никто из них, к моему удивлению, не понял моих жалоб на шум.

– Какой шум? Нормально! – отвечали они.

Постепенно я пришел к выводу, что люди за годы работы в шуме немножечко тут оглохли. Либо у меня вообще повышенная возбудимость.

«Ну что ж, – думал я, – и я привыкну, то есть слегка оглохну, и тоже буду спокойно переносить шум, почти не слыша его. Но я ведь не буду слышать не только шума, а и многого ещё, что слышу, чувствую сейчас!»

Часто бывая в цеху, я вскоре уже понимал, что шумит-то в основном пресс, вырубаящий из тонких темно-радужных листов пермаллоя те самые мембранки, что ставились в наши микрофоны.

Казалось бы, тут ничего нельзя было поделывать – нельзя вырубать мембранки бесшумно.

Но пульт управления прессом располагался чуть в отдалении от него, и оператор подходил к прессу лишь раз в полчаса, а все остальное время можно было не подходить.

Я взял с собой механика, мы все обмерили и сделали из прозрачного желтоватого, маслянистого оргстекла такой прозрачный домик, дворец для прессы.

Все прекрасно было видно через толстое желтоватое оргстекло, а сбоку была плотная дверь, и оператор, открыв ее, когда надо, входил внутрь.

А в цеху стало тихо.

Легкость этой победы пьянила и как-то тревожила меня. Мы с детства приучены, что всего нужно добиваться упорным трудом, а тут совершенно этого не было.

«Наверно, – думал я, – наверно, я где-то ошибся, не может быть, чтобы было так легко». Но постепенно я поверил в свою победу, в свою правоту и запомнил собственное правило: «Чем легче, тем лучше».

Первое время меня поражала, давила мне на уши тишина. Не только не было прежнего шума прессы, сами рабочие теперь как-то изумленно молчали. Раньше они привыкли кричать друг другу, перекрывая шум, теперь это выглядело смешно, а разговаривать нормально они ещё не привыкли.

Щелкая по кафелю, я проходил к какому-нибудь станку, протягивал рабочему нарисованный карандашом на желтой миллиметровке эскиз. Рабочий смотрел, кивал, клал эскиз под железную лампу возле станка, а я, повернувшись, шел обратно, в тишине.

Наверно, месяца два все привыкали к тишине и потом оценили ее.

Наш главный механик, встретив меня в коридоре, сказал:

– А ты молодец! А то тут тоже до тебя был один такой... Тоже, видите ли, шум ему мешал. Так он по-другому немножко сделал: сам постепенно оглох.

Солнце село в море и осветило рыбу

Через год меня назначили начальником группы. Теперь я мог в некоторой степени сам выбирать темы наших работ.

Помню, как мы разрабатывали, а потом испытывали стетофонограф. Каждое утро, по холодной весенней грязи, мы шли через двор больницы в специально нам отведенный желтый флигель с осевшим кафельным полом, имеющим скат в одну сторону, с замазанными белилами окнами, с незнакомым острым запахом. В углу, накрытый белым простынным чехлом, стоял наш стетофонограф. Анализируя спектр дыхания больных, он мог по хрипам легких определить заболевание.

Тяжело было проводить эти испытания!

Потом, когда стетофонограф взяли, я мог заняться давнишней своей темой – дефектоскопом для автоматической отбраковки кирпича на конвейере. Им я занимался ещё на дипломе, и с тех пор к нему не удавалось вернуться, и, насколько я знаю, на мелких заводах отбраковка кирпича велась вручную. Не могу объяснить, чем мне так была дорога эта тема. Она не была особенно тонко-научной. Странно сказать, она волновала меня физически. До сих пор я ощущал присутствие шершавого кирпича в ладони, до сих пор помнил, как мы ехали на стройку и, переезжая мост, я увидел освещённый вечерним солнцем травянистый склон, обломки кирпичей, забор.

Вообще-то дефектоскопы были, но дорогие.

А мой дефектоскоп был дешевый, переносной, помещался в двух небольших чемоданах, и, установив его на конвейере по бокам бегущей брезентовой ленты, можно было ни о чем не беспокоиться, ультразвуковые датчики быстро прослушивали каждый кирпич, и если в нем была трещина или внутренняя пустота, «раковина», – короткий шпенек выворачивался из моего аппарата и сбрасывал этот кирпич с ленты.

Собрав дефектоскоп снова, я выехал на испытания, взяв из группы лишь одного Сеню.

Войдя в вагон, я сразу же погрузился в какую-то спячку и проспал полтора дня.

Проснулся я внезапно.

Я почему-то был в купе один.

Я лежал, чувствуя, что произошло что-то важное, но что именно, я не смогу сейчас понять, лучше даже и не пытаться.

Ещё было странно, что поезд стоял, и было поэтому очень тихо.

Я оделся, сдвинул зеркальную дверь и пошел по пустому коридору.

В тамбуре спустился вниз по крутым железным ступенькам.

Два поезда – наш и встречный – стояли рядом. В пространстве между ними бродили пассажиры, и сразу же образовался пыльный коридор, освещённый оранжевым вечерним светом из-под колес. И свет этот казался светом из какой-то далекой прекрасной страны.

Среди пассажиров шныряли старухи с ведрами мелких абрикосов – жерделей, как они их тут называли.

Один абрикос, падая из ведра в кошелку, выпрыгнул наружу, бочок его лопнул, он покатился в теплой пыли, и струйка сока, тянущаяся за ним,

покрывалась пылью, становилась мохнатой, как нитка пушистой, теплой, колючей шерсти.

Я дошел до конца состава, потом вернулся назад и, схватившись за поручни, снова залез наверх.

Поздней ночью мы приехали в Ростов и, просидев до утра на вокзале, первой же электричкой отправились на наш завод.

Сначала электричка шла как бы в овраге, среди обрывов справа и слева.

Вот какая-то станция. Высоко над рельсами, вверху, стоит над обрывом белая хата с маленькими окошками, дверь закрыта шевелящейся занавеской. Вот занавеска вдруг выдувается пузырем наружу, открывая темное глубокое пространство за порогом.

Потом тянулась ровная долина до горизонта, и по ней среди желтой травы текло сразу несколько нешироких серых блестящих речек.

Вот по одной из них, занимая всю ширину и даже свешиваясь слегка по бокам, плывет сам собой огромный стог сена, и, только приглядевшись, можно заметить под ним черненькую лодку и маленькую фигурку человека па корме.

Потом поезд стал забираться вверх, и вдруг слева, за высоким, как чувствовалось, обрывом, далеко на горизонте сверкнуло Азовское море.

Теперь уже подряд тянулись села, серые домики среди высоких зарослей кукурузы, подсолнухов.

Берег изгибался вдоль моря дутой, и все тянулись домики, желтые подсолнухи, серое море. И вдруг вдали, на этом же плавно изогнутом берегу, стали подниматься высокие трубы.

Но до труб этих мы не доехали – эти трубы оказались не наши, – а спрыгнули на маленькой станции на шершавую серую платформу.

Потом мы шли по селу, по дороге, посыпанной каким-то толченым местным камнем. Желтая извилистая дорога, красные георгины в палисадниках, синий чайник на стуле.

Мы обратились к женщине, адрес которой нам дали в квартирном бюро.

– Сейчас! – сказала она голосом гулким и раздвоенным от близкого колодца.

Она вытащила тяжелое ведро, поставила его на цементную площадку возле колодца и, вытерев руки о передник, повела нас к нашему жилью.

Дом этот находился через дорогу, на небольшой глиняной площадке над морем, над обрывом.

Площадка была обсажена по бокам рыжей, уже увядшей кукурузой. На краю среди кукурузы стоял дощатый туалет, а дальше сбегал длинный склон, служивший, как видно, свалкой – огрызки арбузов, белые сплетенные змейки картофельной шелухи, сизые рыбы головы покрывали обрыв до самого пляжа.

Мы вошли в дом. Две пустые комнаты с неровно побеленными стенами и крашеным деревянным полом.

– Вот. Матрасы я вам дам, – быстро заговорила хозяйка. – А если что захотите кушать, вот плитка тут стоит, посуда. – Показала посуду, прикрытую марлей от мух. – Картошку там, помидоры можете брать у Тоси. Вон ее двор, – она показала калитку наискосок.

Переодевшись попроще, полегче, мы с Сенькой взяли два пустых ведра и пошли туда.

Мы закрыли за собой калитку в высоком глухом заборе и оказались в каком-то особом мире...

У горячей стены сидела кошка, вытянув изо всех сил вперед свою кривую заднюю лапу, и длинно лизала на ней мех остреньким шершавым языком.

Увидев нас, она подняла голову и, глядя на нас, застыла, соображая, менять ей позу, вставать, убегать или можно продолжать умывание.

Но тут из темных дверей вышла Тося и повела нас за дом, где был у нее огород.

Пространство было ограничено с одной стороны домом, с другой забором и кустами. За дом не попадал ни малейший ветерок с моря, воздух здесь был горячим и неподвижным.

Большие блестящие листья, стелющиеся по земле, две какие-то непонятные маленькие клетки, стоящие одна на другой, с привязанными внутри прозрачными фиолетовыми баночками для воды, большой таз с треснувшими рубиновыми помидорами на солнце – все это казалось каким-то раем. Казалось, что дальше ничего нет, что мир счастливо заканчивается в этих пыльных горячих кустах на краю огорода.

На три рубля Тося нам насыпала полведра картошки, а в другое ведро положила длинненького перца, капусты, помидоров и ещё каких-то непонятных плодов.

На Сеню, как ни странно, все это изобилие действовало почему-то раздражающе.

– Ну что это ещё за плод? Для чего? – раздраженно говорил он на кухне, держа в руке блестящий оранжевый шар.

Он раздраженно бросил этот непонятный плод на сковородку, и она неожиданно отозвалась долгим, нежным, прекрасным звоном.

– Вот для чего, – сказал я, когда долгий, нежный звон затих.

Сенька понемножку стал разбираться что к чему и, все ещё рассерженно сопя, сварил прекрасный овощной суп из капусты, помидоров и перца.

По узкой извилистой тропинке, врезанной между двумя обрывами, мы спустились вниз, на пляж, и пошли по берегу на завод.

Пляж зарос мелкими зелеными лопухами. Песок был холодный и твердый. Видно, море недавно отступило. Сейчас вода была далеко, за широкой ровной полосой песка.

Мы разделись, чтобы искупаться, но море оказалось мелким, покрытым пленкой пыли. Там и сям, зайдя далеко в море, но не погрузившись даже до живота, бродили ленивые, разморенные жарой собаки.

В мутной воде я увидел серебристую рыбку, которая плыла по поверхности, потом изо всех сил ныряла, уходила чуть-чуть под воду, и снова оказывалась на поверхности, и быстрыми толчками, на боку, мчалась куда-то, стремясь убежать от непонятной своей беды, снова ныряла.

За короткое время рыбка умчалась далеко, ее саму уже не было видно, только виден был пунктирный след, оставляемый на поверхности ее бегом.

Посидев в теплой воде, мы вернулись на берег, оделись и пошли дальше.

Завод стоял прямо тут, на невысоком козырьке над пляжем. Он делал кирпичи из местной глины и весь был какой-то местный, домашний. Со стороны моря он не имел забора, надо было, сделав легкое усилие, лишь забраться на этот глиняный полутораметровый козырек.

Под покосившимся деревянным навесом сидели молчаливые люди в кепках, и тут же, к моему удивлению, стояла длинная железная кровать.

Директор, с красным круглым лицом, с редкими белыми волосами, сквозь которые просвечивала алая кожа, поздоровался с нами за руку и сказал, что он, конечно, про нас слышал, готов нас принять, но вот почему-то до сих пор не перечислены деньги из министерства, а без этого он не может выделить нам ни рабочих, ни производственного времени для проведения наших испытаний.

— Что ж такое? — сказал я. — А позвонить от вас нельзя?

Директор, разведя руками, сказал, что городского телефона у них нет, не тот масштаб, а позвонить можно только из правления колхоза. Он объяснил, как нам покороче туда пройти.

По желтой улице мы вышли к станции, пролезли под шлагбаумом и по широкой пыльной дороге среди подсолнухов слегка поднялись в гору.

Потом, как объяснял нам директор, мы «свалили» с этой дороги вбок, в душную узкую лощину между стеной подсолнухов и лесом. Тропинка увела нас в высокий пыльный кустарник и вынырнула к неширокому поднимающемуся пространству с засохшими остатками арбузных плетей. На краю бахчи сидела собака, тяжело дыша. Тонкий язычок ее провисал на острых зубах, похожий на увядший лепесток розы.

Нам пришлось лезть в гору, покрытую слоем навоза с торчащими обломанными кончиками соломы. Наверху стояла грубая дощатая будка без окон и дверей, и по трубе, а дальше по глазурированному глиняному желобу, текла прозрачная, чистая вода.

Дальше навозная гора немного спускалась, и там, прямо среди навоза, был теплый неподвижный пруд — ставок.

В его мутной, непрозрачной воде — от одного взгляда на нее все тело чесалось — что-то чавкало, хрюкало, шевелилось.

Сазаны!

С горы спускалась стая гусей. Идущий впереди гусь был почему-то с черной повязкой на глазу.

Гуси, неуклюже ковыляя, дошли до ставка, соскользнули в воду, и сразу же их движение стало ровным, плавным. Они плыли, не шевеля корпусом, и только их светлые босые лапы появлялись и исчезали в темной воде. Потом мы влезли ещё на одну гору, там были длинные дома, и в одном из них было правление.

Мы просидели там три часа, но в институт так и не смогли дозвониться. Да и, если вдуматься, как он был отсюда далеко!

Я сидел во дворе, спиной к дому. Пыльный, жаркий день все не кончался. Сенька ходил и стонал, он и представить себе не мог, чем тут другим, кроме работы, можно ещё заняться.

...Я сидел за столом, застеленным липкой клеенкой. Не знаю уж кто, то ли хозяйка, то ли Тося, постелил на этот стол газету и высыпал целое ведерко абрикосов – жерделей, – уже чуть вялых, подгнивающих, мятых. Я решил их поест, но сначала их полагалось мыть. Я зачерпнул из зеленого ведра стакан чистой, прозрачной воды и бросил в воду один пушистый абрикос. Абрикос сначала потонул, потом всплыл и одновременно с этим сразу же оказался в зеркальной пленке, похожей на остатки тонкой амальгамы на старом зеркале, осветившей серебряным светом весь стакан.

И я снова, в который уже раз, испытал знакомое мне сладкое, мучительное чувство.

Зачем мне, скромному инженеру, все эти пронзительные, острые видения?

Для чего я помню все, что было, и не только нужный мне факт, но и цвет, запах, объем всего, что было в этот момент вокруг?

Мне захотелось встать, куда-то пойти, побежать. Я спросил быстро Сеньку, не пойдёт ли он со мной купаться, и, услышав его мрачный отрывистый отказ, сбежал вниз по тропинке к морю и пошёл, ударяя ногами по воде.

Я зашёл далеко, берега уже не было видно, и глубина была уже почти до колена.

Свет поднимался над горизонтом зеленовато-серым веером. Я шёл и время от времени плашмя падал из холодного, темнеющего воздуха в светлую и почти горячую воду.

Я вдруг поймал себя на том, что мне знакомо откуда-то это ощущение – холодного, тёмного воздуха и полной света, горячей воды.

Я стал разбираться, отбрасывая одно воспоминание за другим, и вот, издалека, появилась фраза: «Солнце село в море и осветило рыбу». Как давно, представляя себя живущим среди пиратов, я ощущал это: холодный темнеющий воздух и освещённую теплую воду.

Как странно: я прожил уже полжизни, но ясно помню, что было со мной тогда. И не только помню, но ощущаю.

И пусть некоторые называли меня ненормальным,— как хорошо, что я сохранил эту «ненормальность» — теперь уже, наверное, навсегда!

Ночью я лежал в своей комнате, слушал, как мается за стеной Сенька, абсолютно не представляя, чем заняться. Потом он вдруг темным силуэтом появился в дверях и, разглядев меня, мрачно сказал:

— Может, пойдем срубаем по сырку?

Мы сидели с Сенькой у круглого стола во дворе. Чувствовалось, что степа дома, нагретая солнцем за день, и сейчас ещё греет, отдаёт тепло.

Потом как-то сразу рассвело. Стало всюду светло. Хоть и пустынно.

— Ну, чему ты радуешься-то? — уныло допытывался у меня Сенька.

Потом вдруг раздался какой-то шум внизу, и по дороге, пища и толкаясь, прошла тесная стая утят — темно-серых, с желтыми клювами.

«Такая, видно, порода», — подумал я...

И вот прошло минут пять, и вдруг в обратную сторону прошла эта же стая утят, но уже абсолютно белых!

...И тут я почувствовал прилив счастья, какого не испытывал ещё никогда.

1975

© В.Г. Попов.

Фото Сергея Дмитренко.